

**М**

**П**

**МОЛОДАЯ**

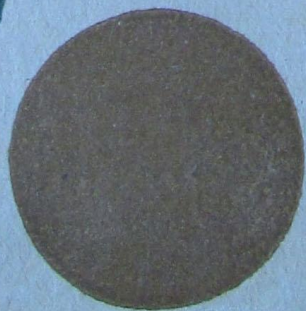
**5**

**ВАРДИЯ**

**ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ**

**ЖУРНАЛ**

**1929**



*Handwritten notes and markings at the top of the page, including the number 1899, the word 'Знаете', and the fraction  $\frac{11}{7}$ .*

XX 130  
7

# Молодая Гвардия 1929 ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

## ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

Орган ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

В. Ермилова, Н. Колесниковой, Т. Кострова, Г. Лебедева, Н. Огнева, А. Селивановского, Д. Ханина

Ответств. редактор: Т. Костров

АДРЕС РЕДАКЦИИ

Москва, Новая площ., 6. Телефон 1-89-13

Издательство „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“



МАРТ

Год издания восьмой

### Содержание

Артем Веселый—Босая правда, полурасказ . . . . .	2	Феликс Кон — В земле урянхов-сойот, из воспоминаний . . . . .	68
Е. Соболевский — Молодость Балашова, роман . . . . .	7	СОВЕТСКИЕ ДНИ: На лингвистическом фронте — В. Аптекарь. Неравная борьба (кино-обзор) — Б. Алперс . . . . .	79
С. Кирсанов—Комната с кухней, стихи . . . . .	36	КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Наши Майн-Риды и Жюль Верны— Я. Рыкачев. О чем пишут поэты— А. Селивановский. «Научное Слово» за 1928 г.—М. Александров. . . . .	87
М. Исаковский—Шуба, стихи . . . . .	38		
И. Рахтанов—Доктор Руссель, рассказ . . . . .	39		
Г. Фиш—Белой ночью, стихи . . . . .	44		
А. Гитович—При пивной имеется бильярд, стихи . . . . .	44		
Г. Зиновьев — Софизмы изменника . . . . .	46		
В. Ломинадзе—Некоторые вопросы ленинской стратегии и тактики . . . . .	58		

# Босая правда

ПОЛУРАССКАЗ

Дорогой товарищ, Михаил Васильевич!

Проведав, что ты, наш старый командир, живешь в Москве и занимаешь хорошую должность, мы, красные партизаны вверенного тебе полка, шлем сердечный привет, который да не будет пропущен тобою мимо ушей.

Горе заставило нас писать.

Надо открыто сказать правду—в жизни нашей больше плохого, чем хорошего.

Известный вам пулеметчик Семен Горбатов голый и босый заходит в профсоюз, просит работу. Какая-то с вот таким рылом стерва, которую мы не добились в 18 году, нахально спрашивает его:

— Какая твоя, гражданин, специальность?

— Я не гражданин, а товарищ,—отвечает Семен Горбатов.—Восемь огнестрельных и две колотых раны на себе ношу, кадетская пуля перебила ребро, засела в груди, и до сего дня мне сердце знобит.

— О ранах пора забыть, никому они не интересны. У нас мирное строительство социализма. Какая твоя, гражданин, специальность?

— Пулеметчик,—тихо ответил герой, и сердце его заняло от обиды.

— Член профсоюза?

— Нет.

— Ну, тогда и разговор с тобой короток. Во-первых, таковая специальность нам не требуется, во-вторых, у нас много членов безработных, а ты не член.

— Почему скрываете распоряжения нашей матушки ВКП?—спрашивает Семен Горбатов.—Не должны ли вы предоставлять работу демобилизованным вне очереди?

— Мы не скрываем распоряжений и даем работу молодым демобилизованным последнего года, а вас, старых, слишком много.

— Куда же нам, старым, деваться, ежели не всех нас перебила белая контр-революция?

— Профсоюз не богадельня.

— А скажите, сколько у вас в трестах и канцеляриях сидит кумовьев и своячениц?

— Не мешайте, гражданин, заниматься.

— Значит,—с бессильным презрением говорит Семен Горбатов,—вы смотрите на меня в моем отечестве хуже, чем на пасынка?

На эти слова он не получил ответа и голодный ушел от порога профсоюза.

Командир 2 эскадрона Афанасий Сычев, ежели вы, Михаил Васильевич, его припомните, боролся в наших рядах, начиная с Корнилова и включая до разгрома Колчака и Врангеля. В 1921 году названный Сычев вернулся на родину, чтобы поправить здоровье и разоренное хозяйство, но хозяйства никакого не оказалось, так как на плане двора торчали лишь горелые пеньки. Когда, летом 1918 г., Деникин занял нашу станицу, то в ряд с другими товарищами была повешена 60-летняя мать Сычева, Авдотья Поликарповна. Жена его с перепугу из станицы убежала на хутор Лоцилинский, где и вышла замуж за вдового казака.

Пришлось Афанасию со всеми своими бедами примириться. Принялся он, в силу шартдисциплины, побивать бандитов; побивал их беспощадно до полного уничтожения и в камышах за войсковой греблей саморучно застрелил полковника Костецкого. Спустя сколько-то времени, за неимением капиталов, пошел Афанасий батрачить к неприятелю своему Гавриленке. Тайком от хозяина посещал он собрания ячейки, но тот дознался и выгнал его, крикнув на прощанье:

— Спинь с глаз. Как ты привержен к ячейке, пускай тебя ячейка и кормит.

Определили Сычева сторожем при исполкоме, но и тут его стерегла неудача. На пасху, как большой любитель церковного звона, залез он на колокольню и, для веселья сердца, позвонил в колокола. За такую слабость Афанасий и был изгнан из партии, как «интеллигент, зараженный религиозными заблуждениями», а он двух

слов подряд правильно написать не умеет и бога не признает с первых дней революции. Когда прочитал в газете об исключении, то бедняга заплакал и сказал:

— Орловские... Отрывают они сердце от тела.

Собрались мы несколько партийцев, описали геройские подвиги Афанасия при взятии Ставрополя, вспомнили атаку под Лисками, изложили в подробностях действия 2 эсдрона на польском фронте и все это послали в райком. В ответ ни звука. Шлем еще одно заявление и опять ни гу-гу.

Тут мы и задумались...

Али и впрямь орловские такую возыме-ли силу, что ни с беднотой, ни с нами, рядовыми коммунистами, и разговаривать не хотят?

Похоже—так.

Посиживают они в холодочке, чай гоняют, о массе не думают, сами себя выбирают, сами себе жалованье назначают.

Что же это за звери такие?

К концу гражданской войны, как вам, Михаил Васильевич, хорошо известно, красная сила толкнула и погнала из России белую силу. Хлынули с насиженных мест графы и графята, буржуи и буржуйята и так и далее, и так и далее. Главные тузы утекли за границу, а всякая шушера—князишки, купчишки, адвокатишки, офицеры, попы и исправники—остались, как раки на мели, на кубанском берегу. Возвращаться в свои орловские губернии они побоялись—там их знали в лицо и поименно. Осели они у нас и полезли в советы, в тресты, в партию, в школу, в кооперацию и так и далее, и так и далее. Не отставали от них и местные контры, которые при белой власти вредили нам сколько могли. Все они хорошо грамотны и на язык остры—для кажлого нашлось местечко, а куда орловский втерся, туда еще не одного однокашника за собой проталтит.

В станице нашей на 30.000 населения—800 здоровых и калеченых красных партизан. В ячейке 40 человек: партизан 4 (когда-то нас было 9); вдова красноармейка 1; рабочий с элеватора 1; батраков 2; подростков 7; присланных из края 3; орловских и сочувствующих им 22.

Откуда орловским знать, с какой отвагой защищали мы революцию? Когда-то станица выставила два конных полка и батальон пехоты. В юрте нашем есть хутора,

откуда все с мальчишек и до дряхлых дедов отступали с красными.

Время идет, время катится...

Сычев до того дожился, что харкает кровью и кормится при тетке из жалости.

Орловские все глубже пускают корень. Дети их лезут в комсомол, а внуки в барабанщики. Таких комсомольцев мы зовем золочеными орешками. Орловские нас судят и рьят, орловские ковыряют нам глаза за несознательность, орловские нас учат и мучат. Мы перед ними и дураки и виноваты кругом, и должники неоплатные...

Эх, Михаил Васильевич, взять бы их на густые решета...

Описываем нашу жизнь дальше.

Боец Егор Марченко живет попрежнему в своей бедной хижине, так как дворца ему не досталось, хотя и много похорил он земель и городов. Живет с той лишь разницей, что раньше было у него хотя и небольшое, но свое хозяйство, а ныне в погоне за куском ходит в плотничьей артели, имеет топор, пилу да полны горсти мозолей. Только сын Спартак поднимает дух Егора, а так хоть и глаза домой не кажи—теща ругает, жена ругает, прямо поедом едят. Иногда отгрызнется Егор, а чаще бывает—пришпрут его, и он, не находя ответа, убегает почевать к кому-нибудь из приятелей.

И в самом-то деле, оглянешься назад, вспомнишь, сколько мы страху приняли, сколько своей и чужой крови пролили,—и чего же добились?

Землю есть не будущее, а обрабатывать ее и не на чем и нечем. Из 6 купленных станицей тракторов 2 достались кулакам, 1 совхозу, 1 колхозу и 2 куплены середняцким товариществом. Плывет из-под бедняка завоеванная земля кулаку в аренду.

Много оголодавшего народа уходит в города на заработки.

Газеты пишут, что Москва отпускает на поддержку бедняцких хозяйств большие рубли. До нас докатываются одни истертые проши, да и то редко.

От большой семьи вахмистра Бабенко осталась в живых одна старуха Печониха. Самого Бабенка, как вы, Михаил Васильевич, помните, белые зарубили под Царицыным. Старший сын его—Павел, командовавший бронепоездом «Гроза», геройски взорвал себя, не желая предаваться врагу. Младший сын Василий погиб в горах Чечни от тифу, а дочь Груню на глазах у матери казали за-

насиловали до смерти. Ходит Печониха с холщевым мешком под окнами и выпрашивает милостыню у тех же богатеев-казаков, которые занасиловали ее дочь и загноили в могилу мужа и двух сынов. В прошлом году мы выхлопотали старухе пенсию в 6 р. 50 к. Три раза ходила она в район и не могла получить. Орловские отовсюду гнали ее, как неграмотную, и ни один сукин сын не захотел войти в ее несчастье и никого не тронуло горе ее... Казаки редко кто подаст корку хлеба, больше надсмехаются—не могут они забыть, что Бабенко сам был природный казак и все-таки пошел за красных. От великого горя и обиды старуха стала полусумасшедшей, голова ее поседела и трясется, мальчишки дразнят ее трясушкой. Жалко ее нам, старым партизанам, но чем поможешь? Самы варим щи из крапивы, да и то через день.

Наш уважаемый старичок Черевков, израненный в схватках лихих за совет, ослеп, и ноги больше не держат хилого тела. В память о повешенной снохе и в память о сыне Дмитре, испустившем дыханье на офицерском штыке, осталось старику пятно от рода, то есть внучек Федька. Ночуют они где придется и кормятся кое-как. Вешает Федька деду на плечо бандуру и ведет его по базарам и трактирам. Старика кругом на сто верст знают. Сядет он в толпе, ударит по струнам перерубленной в бою рукой и дребезжащим голосом запоет:

Слышу, как будто, грохочут удары  
Прошлой войны, и тоска  
Живо рисует вам страсть и кошмары.  
В бурунах пустыни песка  
Красных героев рассыпаны кости,  
Жизнь положивших в бою...

Кончились схватки, домой воротился,  
К участи горькой такой.  
Старый, седой никуда не годился  
Всеми забытый герой...

Кто испытал гражданскую войну, на ком горят еще раны, того эта песня до слез прошибает. И бросают, бросают старику медалики, а иные язвят: «Довоевался».

Много крови, много горя... На всей Кубани и одной хаты не найдешь, которая не была бы задета войной. Все воевали. Михаил Васильевич, кто топчет надежды наши? Или разливали мы кровь свою ни за-нет? Или, утратив силу в огне, кровью своей конфужены?

Где-то и кто-то раз'езжает по санаториям и курортам, а у нас в этом году на лечение 28 красных инвалидов совет ассигновал 47 рубликов. Прикинь, дорогой наш командир, поскольку это выйдет на голову. «Для нашего излечения,—сказал как-то страдающий ревматизмом бывший чекист Абросимов,—жалеют кубанской грязи, а ведь мы ее, эту грязь, своей кровью замесили».

Было время, мы проталкивали для дорогой советской власти первые кровавые тропы, а теперь она забывает нас. Али Печониха и старичок Черевков не стоят маленького сожаления и товарищеской любви?

Кавалер золотого оружия Федор Подобедов, командовавший в разное время эскадроном, кавполком и бригадой в 20 году, памятным всем нам приказом РВС был отстранен от командования по несоответствию. А кто первым выступил на защиту молодой советской власти? Федор Подобедов. Кто, не жалея здоровья и не щадя жизни, гонялся по камышам за повстанцами-казаками? Федор Подобедов! Кто под Фундуклеевкой вырубил три сотни махновцев? Федор Подобедов со своей бригадой. Он хотя и неграмотный, но многие ученые генералы и бандиты не знали, куда от него бежать.

Не мимо говорит пословица: «Лаял Серко—нужен был, а стар стал—со двора вон».

Препоручили Федору должность базарного распорядителя, но ему, как мужчине красивому и молодому, стыдным показалось расставлять в порядок возы и собирать с торговиков гривенники. К тому же и знакомые станичане зло насмехались над красным командиром, дослужившимся до метлы. Прослужил он неделю, пришел в исполком, сорвал с прудки медную бляху базарного распорядителя и бросил председателю под ноги.

Покрутился-покрутился наш Федор и с горя залил. Потом назначили его в территориальную часть завхозом. К тому времени он уже окончательно приистрастился к водочке и однажды промахнулся—пропил двух казенных лошадей.

Потянули его под суд.

Сколько-то просидел он в городской тюрьме, потом вызывают на допрос. И кого же он встречает? А встречает он в трибунале прапорщика Евтушевского.

Вспомните, Михаил Васильевич, бой под Кривой Музгой. Федор с полком стоял от нас левым флангом. Так вот тогда он и захватил в плен рыжего полковника и двух

прапоров. Полковника, как водилось, отправили в штаб Духонина, а за прапоров заступился дурак эскадронный Еременко: «Вручить им,—говорит,—по кнуту и посадить ездовыми, пускай кобыл гоняют, а мы над ними посмеемся».

И оставлены были оба прапорщика ездовыми в обозе второго разряда. Что с ними было потом—неизвестно, но война окончилась, и Евтушевский—вот он гад—незаменимый технический работник и следователь в трибунале. Сколько годов прошло, а сразу узнал Подобедова и с надменной улыбкой начал спрашивать:

— Помнишь, товарищ Подобедов, Кривую Музгу?

— Помню.

— Помнишь, как все вы издевались надо мной?

— Помню.

— Почему же такое, товарищ, был ты революционером, а стал конокрадом?

Разволновались в красном герое нервы, затрясся он от злости, но промолчал.

— Помнишь,—спрашивает опять следователь,—поход на Маныч? Косяки калмыцких лошадей гнали за собой, а тут и двух пропить не разрешают... Не восемнадцатый верно годочек?

Не стерпел Федор таковых слов, выхватил у конвойного пашку и, потянувшись через стол, нарушил тишину—зарубил того незаменимого Евтушевского прямо в мягком кресле.

Дальше-больше, слышим, ушел Федор за Кубань в горы и увел за собой обиженных бойцов Коростелева, Хвороста, Шевеля, Сердечного, нашего батарейца Разумовского, Круглякова Гришку, что зарубил в поединке под Каялом гвардейского полковника, пулеметчиков Табаева и Калайду, одnorукого Курепина, старика Бузинова, милиционеров Моисенку и Колпакова, бойцов Есина, Кабанова, Кошубу, Соченко и Назарку Коцаря. Долгое время бандиты гуляли по Закубанью—жгли совхозы, громили советы, вырезали коммунистов и комсомольцев, поезда грабили. Батальон ГПУ с помощью нас, местных коммунистов, хорошо знающих местность, расколотил банду, но самого Подобедова так и не удалось взять. Недавно из Турции прислал он брательнику письмо: клянет советскую власть и сообщает, что с курдами ему и то жить приятнее.

Горько и пригорьно...

Мы остались в живых по нашему счастью или по нашему несчастью. Тлеём в глухих углах, как искры далекого пожара, и гаснем.

Старая партизанская гвардия редет. Кто стал торговцем, кто бандитом, иные как жуки зарылись в землю и ничего дальше кучки своего дерьма не видят и видеть не желают, многих сломила нужда и, когда-то разившие прозного врага, теперь на мирном положении сами попадают в плен к кулакам.

Начальник конной разведки Яков Келень при поддержке тестя, сумел обзавестись богатым хозяйством и не считает нас больше своими товарищами. Весной из города приезжал сотрудник истпарта и со всех нас, революционных бойцов, отбирал гром преданий о похождениях наших. Яков Келень не захотел с ним разговаривать и сказал только одно: «В Красной армии я никогда не служил».

Как же так, спросите вы, Михаил Васильевич, али совсем нет в станице живых людей?

Есть, есть умные и понимающие люди, да только у одного руки коротки, у другого совесть сера, этот рад—пригрелся и жалованье получает, тот глядит, как бы хозяйство свое приумножить, пятый бывает сознательным только на собраниях, десятый и рад бы чего-нибудь хорошее сделать, да один не может.

Взять хотя бы секретаря нашей ячейки Маркина. Деляга парень—плакаты рисует, лозунги пишет, диаграммы составляет, уголки организывает, на всех собраниях выступает, полы в ячейке и то сам моет: расходам экономия,—а на бархатное знамя и на приветственные телеграммы за год израсходовали больше двухсот рублей. Попадешь Маркину на глаза и сейчас он сноровит разграфить тебя и занести в какой-нибудь список. На тройцын день встал на паперти и давай считать, сколько верующих заходит в церковь: для отчета. Старухи разодрали на нем рубаху и протнали от церкви. На лекции или вечере обязательно переписет, сколько присутствует мужчин, женщин и подростков, поскольку им лет, чем занимаются, велико ли хозяйство. Из-за этой самой переписки многих теперь и насильно не затащишь в Народный дом. Прочитает Маркин газету и в дневник запишет: «Столько-то минут потрачено на читку». Подметет комнату, заправит

лампу и опять в дневник. Поидет в столовку обедать, поговорит со станичниками и запишет: «Выдано столько-то и таких-то справок». Не поймешь, по дурости он это творит или от великого усердия—службист, сукин сын, как бывалошний фельдфебелишка из учебной команды. Живет на свое бедное жалованье плохо и вообще такой же пенек, как и мы, но все старается возвыситься над нами, а чуть что—грозит.

Или вот другой наш вождь—заведующий кооперацией, бывший кузнец Евтихий Воловод. Закрыв глаза портфелем, прибил гал на кабинетной двери лозунг: «Без доклада не входить».

За что мы, Михаил Васильевич, воевали—за кабинеты или за комитеты?

Живет Евтихий с капитаншей Курмойровой, которую он забрал в плен под селом Кабардинкой, где, как тебе, дорогой товарищ, известно, мы прижали убегающих деникинцев к морю и вырубали их там счетом шесть тысяч. В самый разгар боя Воловод набросил на капитаншу—она сидела на возу—набросил бурку и сказал: «Моя. Никто не мог до нее коснуться—застрелю». Не дожидаясь окончания войны, уволок он ее в станицу, и поживают они с этих пор на шее советской власти и ох не скажут. В усадьбе у них стоит раскрашенный в две краски сортир на замке. Сходит в тот сортир сам хозяин и на ключ запрет. Сходит хозяйка и опять запрет. Кухарка с кучером на огород бегают. Евтихий партийную школу кончил, потом какие-то курсы кончил, теперь нас умуразуму учит. Он нам про строительство социализма, а мы ему про сортир напомним, он про хозяйственный рост страны, а мы про то, что жрать нечего, а у него полон двор птицы, поросят, две коровы, жнейка, косилка, четыре собственных лошади. «Вы,—кричит,—разложившийся элемент, в текущей политике ни уха, ни рыла не понимаете, мертвый груз на нашем коммунистическом корабле». «Чего же

нам делать, спрашиваем, и куда деваться?» «Газеты читайте—и центральные и краевые, и окружные, и местную стенную». «Нас,—хором отвечаем мы,—на всю жизнь Деникин выучил, еще десять лет не будем ни одной газеты читать, а понять, чего надо, все пойдем». И тут спускаем мы штаны, заворачиваем рубахи и показываем раны колотые, раны стреляные, следы шомполов и шагаек. Насчет газет, понятно, сторяча брякнем, ну да все равно...

На первое мая вечером, после речей и парада, вышли мы радостные прогуляться, но радость наша скоро помрачнела. На площади в окнах—большой свет: «Кафе-ресторан Президиум». Подходим ближе и заглядываем в окна через занавески. На столах жратва и вина всевозможные. Музыканты играют, и по залу в обнимку с девками и с базарными торговцами танцуют те, кто еще недавно говорил нам речи: секретарь исполкома Нечесе, фининспектора, два землемера, прикачки из хлебопродукта и славный наш кооператор Евтихий Воловод.

Скрепя сердце мы отошли.

Голоса наши когда-то гремели на кровавых полях, а нынче они робко звучат в стенах канцелярий. Много погибло наших дорогих товарищей, но о них и помину нет местной властью. Нас, защитников и завоевателей, восхваляют и призывают только по большим праздникам да когда в нос колет—во время проведения какой-нибудь кампании, а потом опять отсовывают в темный угол. Закомиссарились прохвосты, опьянели властью. Ежели таковые и впредь останутся у руля, то наша республика еще сто лет будет лечить раны и не залечит.

Ждем ответного письма.

С товарищеским приветом.

1928.

(Подписи).

Ответ командира будет напечатан в одном из ближайших номеров «Молодой Гвардии».